

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ, ВИКТОР ВАХШТАЙН ГОРОД КАК КОНТИНУУМ ГРАНИЦ¹

Новиков Алексей Викторович, кандидат географических наук, президент и соучредитель компании «Habidatum».

E-mail: an@habidatum.com

Вахштайн Виктор Семенович, кандидат социологических наук, магистр социологии (Университет Манчестера), декан факультета социальных наук МВШЭСН; декан философско-социологического факультета, директор Центра социологических исследований РАНХиГС при Президенте РФ; главный редактор журнала «Социология власти»; Российская Федерация, 125009, Москва, Газетный пер., д. 3–5, стр. 1.

E-mail: avigdor2@yahoo.com

Участники дискуссии обсуждают границы и разграничения в городе с социологической и географической точек зрения, привлекая множество примеров, теорий и исследований. Дискуссия выстраивается вокруг трех тем. Во-первых, как воплощается в городском пространстве различие doing и being, по-разному интерпретируемое участниками как труд и жизнь для себя или же как рутинизированное и осознанное существование. Во-вторых, проблема того, что по сравнению с действиями горожан их намерения крайне мало исследованы и трудно регистрируемы, однако играют значительную роль в развитии города, способствуя или препятствуя ему. В-третьих, переопределение оппозиции между присутствием и связью в условиях наступления виртуального пространства и обусловленные им возможные трансформации города.

Ключевые слова: граница; город; намерение; действие; география; социология; присутствие

Цитирование: Новиков А.В., Вахштайн В.С. (2020) Город как континуум границ. Дискуссия//Городские исследования и практики. Т. 5. № 4. С. 81–93. DOI: <https://doi.org/10.17323/usp54202081-93>

Границы: провести или обнаружить?

Алексей Новиков: Большое спасибо Архитектурной школе МАРШ и компании Habidatum за приглашение и организацию этой дискуссии. Я предлагаю нам с Виктором сначала обсудить саму тему «Континуум границ», поскольку это не просто название, а научное понятие. Его ввел в оборот много лет назад Владимир Леопольдович Каганский, который сформулировал задачу пространственных наук, в том числе географии и урбанистики, как прочтение «текста» территории, герменевтику ландшафта.

Ключевая проблема и вся исследовательская нетривиальность географии состоят в том, что она имеет дело не просто с социальными и культурными гибридами, а сам предмет ее по сути есть гибрид физического и социального пространств. Я думаю, что основы такого взгляда заложил еще Теодорик Шартрский, который утверждал, что Земля — это самое первое святое описание, созданное еще до Библии. Задача исследователя, по Теодорику, — интерпретировать рисунки земной поверхности как послания Бога, расшифровывать их и объяснять.

Продолжением этого взгляда стали телеологические концепции немецкого географа Карла Риттера, который искал в каждом ландшафте божественное «испытание» для населяющих его людей. В таком случае рисунки поверхности земли, ее рельеф, растительность и климат становились «условиями», в которых человечество приобретало «опыт».

Еще более ярко и отчетливо такой взгляд представлен у Тейяра де Шардена, который, судя по его высказываниям, выводил из шарообразной формы Земли два основных принципа будущего человечества: 1) ни одна из точек на шарообразной поверхности не может быть центром и в то же время каждая может им быть; 2) на замкнутой сферической поверхности Земли происходит «социальное сжатие» (компрессия), которое создает социального человека Ното

¹ Дискуссия состоялась в рамках XXVII Международной выставки архитектуры и дизайна «АРХ Москва», 8–11 июня 2021 года.

socialis, из Homo sapiens, и это продолжение биологической эволюции. Отсюда у Шардена появляется теория ноосферы — еще одной оболочки планеты.

Параллельно с гибридностью «оболочек» и вертикальными градиентами на поверхности земли появляются горизонтальные гибриды и «переходные пространства», которые легли в основу научных представлений о пространстве как «континууме границ».

У географов для этого есть хороший теоретический и исследовательский инструментарий — теория районирования в разных ее форматах — интегральном, индивидуальном, однородном, узловом и безграничном. Теория «безграничного районирования», разработанная Леонидом Викторовичем Смирнягиным, по сути, основана на представлении о пространстве как «континууме границ». Это не просто метафора, а вполне инструментальное определение, связанное с устройством территории вообще и городского ландшафта как градиентной среды и как текста в частности.

Виктор Вахштайн: Спасибо большое Habidatum и МАРШ за приглашение. Меня тоже очень заинтриговала тема континуума границ, хотя все же в социологии она схватывается немного в другом ключе, в другой перспективе. В современной социальной теории этот вопрос отсылает к философии пространства и города. Например, к работам Мануэля Деланда и его теории ассамблежей. Деланда задает простой на первый взгляд вопрос. Почему для жителя древнегреческого полиса или для жителя Рима покинуть город не означало перестать быть его частью? Вы вполне могли быть землевладельцем, который уезжает из Рима куда-нибудь к себе на дачу, и при этом оставаться римским гражданином. Это никак не сказывается на ваших привилегиях и правах. Так же и греков военные угрозы побуждали скорее рассредоточиться на местности, покинув город (а не укрыться за его стенами). Граница между полисом и сельской местностью оставалась размытой, нечеткой.

Но в средневековом городе физическая граница — крепостная стена, которая задает абрис этого города на местности, — одновременно является границей и в социальном, и в юридическом, и в символическом пространстве. Покинув его, выйдя за стену, вы, по сути, перестаете быть его частью. Лишаетесь тех привилегий, которыми обладали, пока находились на его территории. Пространственные и социальные границы совпадают. Их наложение и является предпосылкой средневековой городской идентичности, которая позволила Броделю назвать европейские города «первыми отечествами Европы».

Континуум границ — это как раз вопрос о том, сколько границ сошлись в одном месте, наложились друг на друга. Совпадают ли границы между местами, социальными группами, повседневными практиками, юридическими регуляциями, символами и идентичностями? Если граница между X и Y разделяет не просто два пространства, но два образа жизни, два юридических порядка, две социальные группы, две идентичности, две идеологии, то мы назовем ее жесткой. Если же эта граница проведена наблюдателем, которому — в силу требований профессии или практической необходимости — потребовалось отделить одно от другого, нарезать территорию на некоторые «районы», и за этим разделением не стоит ничего, кроме его собственной оптики, мы назовем ее мягкой. Граница городского гетто, очевидно, жестче, чем граница вернакулярных районов (например, «Гражданка До Ручья» / «Фешенебельный район Гражданки»).

Так что для социолога вопрос о континууме границ — это всегда два вопроса. Первый: кто наблюдает? Где проводит различение? Где сам при этом находится? И тут мы совпадаем полностью. Различать и разграничивать можно только находясь в пространстве. Любая точка зрения — это точка в пространстве. Оптика требует местоположения. Но второй вопрос — вопрос жесткости: чему равна эта граница, сколько на самом деле границ в ней слились?

Мы сейчас с вами находимся в помещении, где наше мероприятие не отделено стеной или хотя бы ширмой от других мероприятий. Граница размыта. И тем не менее каждый проходящий мимо видит, что здесь что-то происходит, он может замедлить шаг, остановиться, присоединиться к нашим слушателям в формате «полуприсутствия» или пополнить аудиторию, сесть на стул. А может пройти мимо. Каждый — наблюдатель, и каждый проводит границу между «зоной мероприятия» и «зоной прохода». Но граница эта — лишенная материальных носителей вроде городской стены, крепостного рва или хотя бы занавески — все равно поддерживается практиками участников: те, кто проходит мимо, стараются даже не смотреть в нашу сторону, чтобы показать: здесь еще зона прохода, здесь можно свободно ходить, не включаясь в наш разговор о границах. Мы тоже поддерживаем эту границу, используя микрофоны

и собственную речь. И если в соседней локации люди говорят намного громче нас, то шум — непрерывно пересекающий границы локаций — делает нашу дискуссию невозможной. Как бы наблюдатели эти границы ни нарезали, сами эти границы остаются мягкими, проницаемыми, не гарантированными ничем, кроме практик участников.

А.Н.: Очень интересно, что вы сказали по поводу различения. В пространственных науках, в частности в районировании, есть как минимум три процедуры, позволяющие дифференцировать пространства. Первая — «разграничение», то есть создание объектов, которые мы потом будем различать. То есть мы начинаем различать какие-то сущности. Вторая — «различение» уже разграниченных объектов. Это не тождественные друг другу процедуры. Разграничить территории Москвы и пригородов вы можете по плотности застройки, но различать вы их будете по многим другим факторам.

Признаки различающие и разграничивающие зачастую совершенно разные. Есть, наконец, третья процедура — описание. Мы разграничиваем, различаем и описываем — все три процедуры представляют собой итеративный процесс бесконечного возвращения от одной стадии к другой: описание генерирует новые различения, а те, в свою очередь, разграничения. Этот итеративный процесс и есть районирование.

Районирование, конечно, гораздо интереснее, чем просто группировка и классификация, потому что мы должны сначала создать свой объект, потом каким-то образом отличить его от другого и описать. Понятно, что я говорю не о тех институционализированных границах, о которых говорит Деланда. Для него важен именно социальный и гражданский статус. В моем случае речь идет о механизмах познания пространства посредством научного языка районирования.

Город между *doing* и *being*: борьба за досуг и выход из рутины

А.Н.: Думаю, институционализацию пространственных границ мы можем обсудить в контексте нашей первой темы про *doing* и *being*. Откуда взялось это противопоставление? Так получилось, что современный город в основном про действие (*doing*), он — проекция трудового законодательства, организован на 8 часов рабочего времени, на час или два трудовой поездки. Так он и выстроен, ровно для этого. Иногда мы называем это фордистским городом. Москва, например, в десять раз больше, чем Детройт, но устроена примерно так же: административный центр, производственные зоны, спальные районы и выматывающие трудовые маятниковые миграции из одного места в другое по утрам и вечерам.

То, что сейчас происходит в современном городском обществе, полностью противоречит такому устройству города. Выясняется, что где-то 30% людей (если не больше), проживающих в той же Москве или в европейских столицах, обладают большим количеством свободного времени и денег. Они могут вести себя так, как хотят, график их активности смещен в сторону вечера. Они могут позволить себе не работать полную неделю. И это данные еще до COVID-19, пока без учета удаленной работы. Они живут в городе, а не действуют, их отношения с городом, возможно, менее утилитарны, чем у классического комьютера.

Жан Виар, известный французский социолог, работающий в области социологии *real estate*, напоминает нам, что только 12% времени нашей жизни мы тратим на работу. Остальное время уходит на детство, старость, выходные, отпуска, сон. Проблема в том, что город организован под эти 12% труда, а не 88% жизни.

Более того, если мы посмотрим на структуру экономики современного города, то 80% городского продукта приходится на так называемые *non-tradables*. Это недвижимостные услуги, то есть те функции в городе, к которым нужно приехать. То, что само не перемещается, само к вам не придет. Остальные 20% — *tradables*, товары, которые перемещаются как и куда угодно. При этом современный город спланирован под эти 20%, под производство товаров. Этот очевидный диссонанс бросается в глаза.

Помимо этого противоречия есть еще и другие. Мы все, разумеется, находимся одновременно и в сфере *doing*, и в сфере *being*. В своей деятельности мы тратим время на обычное созерцание, погружение в среду — словом, на *being*. Все перемешивается. Из-за этого в городе рождаются функциональные гибридные пространства.

Например, в Сан-Франциско и Нью-Йорке компания *Spacious* (ныне часть *WeWork*) организовала модный бизнес по совмещению ресторанов и коворкингов. В ресторанах, которые

имеют провал в посещаемости, посреди дня устроили коворкинги, а на вечер и утро оставили их основную функцию. В отделениях банков теперь можно встретить кафе, турагентства, места для домашних животных.

Мы видим, как гибридизируется это пространство. Вы можете в банке — пока не в нашем российском, не в московском — оставить собаку, уйти куда-нибудь, ребенка в манеж посадить, за ним последят. Вот такие гибриды doing и being стали появляться. Стали размываться границы в пространственно-временном переплетении практик doing и being, хотя сами элементы этого переплетения по-прежнему почти неизменны.

Как мне кажется, морфология физического пространства города к такому процессу не готова, то есть она его «встречает» пока что с крайним удивлением. Понятно, физическая среда города очень консервативна, ее быстро не адаптируешь к социальным изменениям. Но так или иначе в планировании города, в новых архитектурных проектах гибридизация должна быть схвачена.

В.В.: Да, интересный заход. Город, как проекция трудового законодательства — отличная метафора. Но город же всегда проекция чего-то. Это никогда не проекция чего-то одного. Мне страшно представить, проекцией скольких законодательств на сегодняшний день является Москва. Надеюсь, пока еще не законодательства об иноагентах. Хотя, кажется, мы движемся и в эту сторону тоже. Чем больше проблемы безопасности будут подниматься в повестке дня в связи с пандемией, тем больше будет конструироваться «угроз» и «опасностей» для усиления контроля над территорией. А значит, больше различений, разграничений и институционально оформленных границ будет появляться в городе.

Но вернемся к предложенной вами оппозиции doing и being. В том различении, которое вы провели, есть сильная связка doing с трудом, а being — с досугом, со временем для себя или созерцанием. И в социологических исследованиях города такая интерпретация (где «делание» — это именно «работа») долгое время доминировала. То есть действовать в городе значило, прежде всего, зарабатывать в нем деньги. Но в 1960-е годы все немного поменялось. Исследователи начали замечать незаметное. То, что городское пространство наполняется не столько трудовой активностью — в норме она довольно четко локализована в специально отведенных местах от офисов до фабрик, — сколько повседневными, нерелексивными, рутинными, бесконечно воспроизводимыми действиями. Теперь doing — это то, что вы делаете в городе, не приходя в сознание. А being — это как раз про выход из повседневности, про отстранение, про ощущение момента, про опыт осознания себя здесь и сейчас.

Как это различение двух модусов человеческого существования проявляется в городе? Насколько город вообще чувствителен к двум этим типам опыта?

Москва — яркий пример. Здесь 90% людей живут как в рассказе Пелевина о человеке, который периодически просыпался, обнаруживал себя в новой локации (на лекции, в армии, на собрании, на свадьбе), снова засыпал. Примерно так и прошла его жизнь с редкими периодами пробуждения и просоночного состояния.

Чтобы жить в городе, мозг не нужен. Нужна прочная база рутинных действий. Города — это про doing. Они организованы как американские казино, каждый элемент пространства которых подчинен одной цели: не дать игроку вспомнить о «внешнем мире», не отвлекать его от проигрывания денег. Если немного рефокусировать ту постановку проблемы, которую вы предлагаете, то одна из задач классического мегаполиса состоит именно в том, чтобы возможностей для being в городе было как можно меньше. Если вы отвлекаетесь, выходите из рутины, задаетесь мировоззренческими вопросами, начинаете рефлексировать свое существование в городском ритме, этот ритм нарушается. Колесо мстит белке, которая вдруг перестала его крутить. Такие прерывания, пробои диэлектрика, Мишель Уэльбек называет «поэтикой остановленной городской машины» (он связывает их с масштабными парижскими забастовками 1968 и 1986 годов).

Классический модернистский мегаполис — пространство «принудительной имманентности», он принуждает вас жить в модусе doing, а не being. Это хорошо понимали люди вроде Роберта Мозеса или Нормана Бела Геддеса (которому принадлежит замечательная фраза: «у автомобилиста в городе должно быть так же мало причин для остановки, как у авиатора, пролетающего над городом на самолете»). Современный мегаполис — вы абсолютно правы — уже более чувствителен к этому различению. Но эта чувствительность выражается не только в создании мультимодальных, гибридных пространств. К примеру, хипстерский урбанизм —

еще одна попытка дать горожанину ощущение being, выхода из рутины, прерывания повседневности. Станции в метро начинают объявлять известные артисты, превращая поездку в аудиоспектакль, на площади появляются гигантские качели, намекая на родство площадей и дворов, парки заполняются чем-то принципиально негородским, чем-то, что дает вам ощущение «иного пространства». Это механизмы «безопасного» выхода из повседневности, не подвергающего риску всю машинерию городской рутины. Пространства «имманентной трансцендентности», сказали бы философы. Лучше дать человеку возможность выйти из потока doing и позадаваться экзистенциальными вопросами где-нибудь в парке Горького, на сеансе йоги или на выставке под открытым небом, чем ждать тотальной остановки городской рутины.

Впрочем, любые опыты дерутинизации городской жизни в конечном итоге оборачиваются новой рутинизацией. Казалось бы, что больше разрушило ткань городской повседневности, чем пандемия? Но пандемия создала новую рутину уже через две недели самоизоляции. Работодатели, не имея возможности контролировать сотрудников «пространственно», на удаленке усилили контроль за их бюджетами времени. Профессора, перебравшиеся из города на дачные участки, читали лекции из сараев и бань (единственные уединенные места). В «Южном парке» была шутка про то, что туалет — последний фронт американской свободы (поскольку лишь там американец может остаться один на один со своими мыслями). Но и туда добрался телефон/ноутбук с идущим в зуме рабочим совещанием.

Возникнут ли в городах новые механизмы дерутинизации, приостановки повседневной летаргии и трудовой лихорадки? Какую роль архитектура и дизайн играют в переходе горожанина от doing к being? Да и есть ли вообще место для being в мегаполисе? Мне кажется, это все — открытые вопросы.

А.Н.: Спасибо большое. Это очень интересно. Опять же хочу вернуться к Владимиру Леопольдовичу Каганскому, которому принадлежит выражение, что наше общество «пространственно невменяемо». Чувствуется тоска по той рефлексии, которая почти невозможна в крупном мегаполисе или очень часто блокируется. Есть один интересный эксперимент. Я недавно оппонировал на защите магистерской работы на кафедре географического страноведения географического факультета МГУ.

Она была посвящена такому замечательному месту, как Black Rock City. Я не знаю, слышали ли вы о таком. Это совершенно уникальное место на севере штата Невада. Сделан утопический город почти что по модели Эбенизера Говарда. Это серия незаконченных концентрических окружностей, по ним расположены разного рода домики, поселения, палатки и так далее. Там проводится знаменитый международный фестиваль Burning Man. Туда приезжают люди со всего света. В этом городе запрещены денежные и товарные отношения. Там невозможно ничего купить. Единственное, что там продается за деньги, это вода. Это социальный эксперимент в «пробирке». В городе возможен обмен только знаниями, эмоциями и ничем другим.

Андрей Пронин, который защищал эту работу, сделал анализ связности внутри Black Rock City. Он выявил точки, где расположены основные центры пересечения маршрутов, и проанализировал, насколько они связаны между собой. Связность описывается тремя категориями. Первая категория — количество мест, которых можно довольно быстро достичь из каждой локации в городе. Вторая — посредничество, то есть, условно говоря, сколько через эту точку проходит людей и откуда. Третья — полнота интеграции данной точки в территорию города в целом.

Эти три параметра, по сути, геометрические. Они показывают нам, как ведут себя люди в идеальном пространстве, в которое они приехали, чтобы пообщаться и ничем не обмениваться, ничего не делать и не покупать. В чистом виде being, в чистом виде обмен знаниями и получение удовольствия. Результат исследования довольно ошеломляющий. Оно показало, что фактически никаких существенных корреляций между этими тремя важными морфологическими свойствами пространства нет.

Единственное, что всерьез влияет на выбор местоположения в городе, это так называемый choice (свобода выбора). Это пространство, где люди могут получить максимальную свободу последующих действий не только с точки зрения общения, но и бегства от него. То есть управляет динамикой размещения в городе возможность максимальной степени свободы последующих действий, включая отрицание самой цели посещения этого места.

В этом смысле, переходя от модельного города в обычный, можно утверждать, что полностью избавляться от старых морфотипов застройки в городе — это ошибка.

Пятиэтажки, несмотря на их старомодность и нерентабельность, — это важный морфотип застройки, так как он дает горожанам дополнительную степень свободы выбора нужного им формата обитания в городе.

С другой стороны, есть в городе и спрос на анонимность проживания, на крупные жилые многоэтажные комплексы. Есть спрос на тесные соседства, которых в Москве почти не существует. История с вернакулярными районами все время кажется мне надуманной для Москвы, просто потому что нет этих вернакулярных районов или они очень слабо выражены. Их нужно искать в Москве, прибегая к помощи инструментария археолога. Но всегда есть исключения, всегда есть степень свободы. Вариативность того, что существует вокруг вас, может считаться важным элементом being. Это выводит нас к следующей теме: действия и намерения в городе.

Ускользящее намерение и пандемия как машина желаний

А.Н.: Если мы более или менее умеем работать с действиями, которые человек совершает в городе, то про намерения горожан и их связь с локациями в городе мы вообще ничего не понимаем. Ярким примером такого непонимания служит история о том, как в одном из канадских городов местные власти закрывали один из городских парков, практически заброшенный и никем не используемый. Был придуман довольно интересный проект его преобразования. Там оставалось много зелени и появлялась интересная архитектура, образовательные учреждения, жилье. Проект выглядел как очень интересное предложение по развитию города. Но когда о нем объявили, горожане стали возмущаться и выходить на демонстрации, так как решили, что администрация города наступает на важные для них права и интересы. В итоге был проведен опрос тех горожан, которые выходили на демонстрации и требовали остановки проекта. Результаты этого опроса выглядели примерно таким образом.

Из 100 человек 15 были против, потому что они принципиально не доверяют любым действиям, исходящим от правительства и муниципальной власти. Еще 15% в принципе отрицают любой проект, в котором трогают хоть одно зеленое насаждение, даже если вместо него посадят еще десять. Но 70% опрошенных, как оказалось, «намеревались» когда-то посетить этот парк, а у них отобрали надежду. Примечательно, что из этих 70% большинство узнали о существовании этого парка в тот момент, когда его захотели закрыть. То есть само намерение его посетить было порождено реакцией на информацию о его закрытии и перепрофилировании. Меньшая же часть из этих 70% действительно хотела его посетить, но откладывала и, возможно, никогда бы не посетила.

Сила, с которой люди реагируют на потерю таких мест в городе — даже тех, которые не используются и не приносят деньги, — очень мощная, но городские планировщики про нее ничего не знают, не умеют ее выявлять и измерять. Намерение вдруг возникает как мощнейший фактор, эмоциональный, социальный и экономический, зачастую как препятствие для планов по развитию города. Было бы очень важно узнать карту намерений жителей Москвы.

Несколько лет назад в одной из передач на «Эхо Москвы» мы начали обсуждать вопрос о целесообразности слабо востребованного маршрута троллейбуса по Маросейке. Просто обсуждали, нужен ли вообще там троллейбус или нет. Разумеется, мы не только не предлагали его отменить, а, напротив, готовы были голосовать за троллейбус с одним пассажиром просто ради возможности связать разные точки в городе. Однако нам было интересно мнение слушателей.

Рейтинг этой программы взлетел в несколько раз из-за огромного количества возмущенных людей, которые позвонили в эфир и оставили на сайте свои проклятия. Сама постановка вопроса воспринималась как угроза. Как вы думаете, намерение — это серьезная сила в городе?

В.В.: Мне очень нравится этот заход. Я думаю, что вашу с Венедиктовым провокацию можно продолжить, вывести ее на уровень контролируемого социологического эксперимента. Нужно взять три города, в каждом из трех городов объявить о закрытии какого-нибудь парка, который в этом городе не существует, сделать страницу в «Википедии» об этом парке, обязательно с фотографиями — прогуливающимися людьми, зоны отдыха. Организовать общественные обсуждения (удаляя с них по возможности адекватных и вменяемых людей, которые говорят, что в городе такого парка нет). И замерить в итоге, какую степень коллективного бурления, негодования, активистского протеста можно будет спровоцировать. Если мы возьмем Москву, Петербург и Екатеринбург, то мы уже сейчас можем делать ставки, где бы это вызвало наибольшее возмущение. Подозреваю, что не в Москве.

Но тут мы сталкиваемся с проблемой. Намерение, которое декларируют возмущенные горожане, — это намерение или декларация? Как бы мы ни иронизировали по этому поводу — а в каждом горожанине есть что-то от героя Венички Ерофеева, который каждый день намеревался посмотреть на Кремль, но ноги сами несли его к Курскому вокзалу, — мы не можем скинуть со счетов силу намерений. Не как атрибута градозащитных деклараций, а как необходимого условия любого осмысленного действия.

Намерение странным образом ускользает от исследователя. Оно воспринимается либо как характеристика субъекта и его позиции в социальном пространстве, либо как свойство самих действий. Если мы говорим о намерениях как о характеристике некоторых социальных групп — жителей Патриарших, автомобилистов, владельцев домашних животных, — то все сводится к установкам и габитусам — иными словами, к набору предрасположенностей действовать определенным образом. В духе: «представители данной социальной группы чаще посещают публичные лекции в парке Горького, читают по утрам “Медузу”^{*}, тратят четыре часа в день на фейсбук^{*}-активности и в три раза чаще пользуются каршерингом». Но это не намерение в чистом виде. Это обобщенная «готовность», «предрасположенность», «диспозиция». Такая готовность может вообще не конвертироваться в реальные действия. Как в старом советском анекдоте: «— Я опять хочу в Париж. — А ты в нем бывал? — Нет, но вчера тоже хотел». Такие намерения что-то говорят о человеке, но ничего — о его потенциальном поведении.¹

Если же намерение все же конвертируется в действие, мы уже говорим о нем не как о намерении, а только как об элементе действия. В логике другого советского анекдота: «— Мне вчера хотели дать в морду. — Откуда ты знаешь? — Так потому что дали. — Тогда почему ты говоришь, что “хотели”? — Ну а если бы не хотели, разве б дали?».

Получается, намерение — это такое трудноуловимое связующее звено между человеком и его действием. Когда действие реализовано, намерения уже нет (оно стало его частью), пока оно не реализовано — его еще нет (это просто часть позиции, коллективного интереса или декларации). Хотя идея сделать карту нереализованных намерений в Москве — как арт-проект или арх-проект — кажется очень интересной. Москва как машина желаний. Все, что вы хотели, но не успели сделать в этом городе за последние двадцать лет.

В каком-то смысле такой машиной желаний для москвичей стала пандемия. Помните, сколько людей в начале локдауна говорили: «Отлично! Теперь-то я займусь спортом, подтяну испанский, напишу книжку, буду читать художественную литературу и займусь тем, что для меня по-настоящему важно». Но если делать вывод о том, что по-настоящему важно для людей, — не по их декларациям, а по фактическим действиям в период карантина, — то может показаться, что единственное искреннее намерение (опять же в духе Ерофеева) — выпить.

Пандемия — это машина желаний братьев Стругацких. Она выполняет не те желания, которые вы озвучиваете, а те, которые не озвучиваете. Не декларации, а интенции. Во фрагменте сценария, который Тарковский выбросил, сталкер (кажется, Дикобраз) просит у машины желаний вернуть брата, загубленного в Зоне. Но, вернувшись домой, обнаруживает, что дом завален золотом. Потому что это и было его подлинным, не озвученным желанием.

Так работает пандемия. И так работает город. Они отделяют слова от дел, декларации от намерений. В них реализуется не то, что вы говорите, а то, чего вы хотите на самом деле. Хотя я бы все равно с удовольствием посмотрел на карту нереализованных московских желаний: что будет выступать их объектами? И где эти объекты локализованы пространственно?

А.Н.: Да, и, пожалуй, самое интересное состоит в том, что независимо от того, как выражена связь человека с возможностью будущего потребления того или иного места в городе — открытое намерение, диспозиция, готовность, декларация, ожидание, удивление или просто желание вступить в любое острое обсуждение, — от этой связи зависят оценки конкретных объектов недвижимости в городе, проекты на миллиарды долларов. В парк никто не ходит, но про него все думают, поэтому цена этого места может быть еще выше, чем у того парка, в который все ходят.

На самом деле это совершенно не праздный вопрос. Всемирный банк как-то пытался со-здать бухгалтерский баланс города, такой же как у компании. В левой части баланса сначала

^{*}СМИ включено в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

^{*}Социальные сети Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации. 21.03.2022 компания Meta признана экстремистской организацией.

стоят ликвидные активы, деньги, потом ожидаемые поступления, ценные бумаги, затем в конце идет неликвидное имущество, которое нужно как-то оценить. Для компаний неликвидное имущество — проблема, для города, наоборот, вся важнейшая его инфраструктура (мосты, дороги, общественные пространства). Но как оценить, например, мост через реку?

Самый простой и разумный подход, который не сводился к суммированию расходов на постройку и эксплуатацию моста, а нацеливался на понимание его экономической полезности, состоял в исключении моста из системы дорожных коммуникаций города. Вопрос состоял в оценке издержек, возникающих от перекрытия моста. Они огромны. Эти издержки и есть эквивалент его стоимости. Примерно такой же подход применим и к экономике пустоты в городе.

Возьмем, например, историю с нью-йоркским Цукотти-парком, который находится прямо рядом с Уолл-стрит. Это то место, где когда-то расположили свои палатки активисты Оссиру Wall Street, поскольку это частный парк и он не закрывается на ночь как обычные городские парки. Так вот, эта пустая территория принадлежит компаниям, которыми владел легендарный городской планировщик Нью-Йорка Джон Цукотти.

Вся недвижимость вокруг этого парка также принадлежала ему. Цукотти решил оставить это место пустым и не застраивать его. Его экономический расчет был прост: оставив это место пустым, он создаст такую разреженность в плотно застроенном пространстве финансового района Нью-Йорка, что прирост стоимости квартир вокруг парка перекроет возможные выгоды от его застройки премиальным жильем. Парк, просто пустырь или велодорожка могут оказаться самыми дорогими объектами в городе. Пустота часто значительно дороже плотно застроенных и коммерческих городских пространств, но это тема отдельной дискуссии.

В.В.: Мне просто стало интересно, как можно было бы картографировать такие вещи? То есть создать большой список локаций, каким-то образом квантифицировать пространство Москвы, сделать некоторый корпус выборки людей, опросить, что если мы завтра закроем Кремль, то насколько вы расстроитесь по 10-балльной шкале. А они: «Нет, я хотел туда сходить! Нельзя его закрывать». Как мы в таком случае можем измерить, где намерение — это просто слова, оправдывающие некоторое отношение к пространству, а где за ним действительно стоит интенция, намерение трансформации. Для меня как раз интенция — это не то, что будет говорить возмущенные горожане. Чем более они возмущены, тем интереснее их изучать.

Для меня интенция — это то, что делает Роберт Мозес, человек, у которого намерение и действие не расходились друг с другом. Это интенция. Возможно, разрушительная. Но вот он в юности пишет футуристическое стихотворение про «город завтрашнего дня». И вот он уже делает это стихотворение былью в районе Флашинг Медоуз (том самом, который Скотт Фицджеральд описал как ад на земле — зияющую рану индустриализации на теле Нью-Йорка). Теперь его принято ненавидеть.

А.Н.: Хочу защитить Мозеса. Он, конечно, один из самых гениальных творцов Нью-Йорка.

В.В.: От меня точно не надо защищать, я его фанат. Но есть список тех, от кого стоит.

А.Н.: Я понимаю. Его конфликт с Джейн Джекобс — это как раз то противостояние, которое должно быть в здоровом городе. Это норма, а не аномалия. И он, и она — позитивные персонажи, абсолютно великолепные. По поводу карты: мы попытались создать нечто подобное в Майами. Проект осуществлялся вместе с архитектурным бюро Cooper Robertson по мастер-плану Миракл-Майл. Миракл-Майл — это район старого заселения кубинской иммиграции. После прихода к власти Фиделя Кастро богатые кубинцы бежали со своим состоянием в Майами и создали там этот шикарный район с кафе, клубами, ресторанами, особняками и кубинской музыкой.

В какой-то момент, не так давно, район стал терять популярность, постарели его жители, изменились предпочтения горожан. Нужно было переосмысление. Частью проекта нового мастер-плана был анализ настроений людей по поводу этого места в городе и других конкурирующих локаций. Тогда еще была возможность анализировать соцсети машинным способом. Важно было понять, о чем, о каких местах в Майами пишут люди, находящиеся в Миракл-Майл. Пишут ли об этом районе люди, находящиеся в других местах города и в каком контексте. Для этого мы выискивали в соцсетях посты, в которых упоминался любой топоним, например Майами-Бич, или Ки-Бискейн, или порт Майами. Нам также был интересен контекст, в котором упоминался этот топоним. Выяснили, что люди, которые находились в Миракл-Майл, обсуждали не сам этот район, а другие районы города, причем в контексте потребления, наме-

рения что-то купить. А горожане, которые находились в других местах, Миракл-Майл в этом контексте почти не обсуждали.

Если не само намерение, то, как минимум, какой-то признак этого намерения можно уловить через коммуникацию в соцсетях и построить карту, о которой мы с вами сейчас говорим.

В.В.: Мне очень нравится этот район кубинских эмигрантов в Майами. Там есть парк с шахматными столиками и табличками «Не садиться, если вам нет шестидесяти».

А.Н.: Пенсионеры.

В.В.: Возвращаясь к интенции, мы можем посмотреть на нее и с другой стороны. Вот, например, правительство Дании потратило немалые средства, чтобы воспроизвести страну в «Майнкрафте». (По удачному стечению обстоятельств Дания плоская как стол и с рельефом проблем не возникло.) Каждое здание Копенгагена было старательно воспроизведено в игровом мире. Но авторы проекта не учли, что в «Майнкрафте» есть занятный баг. Здания — при некоторой степени изобретательности — все же можно взрывать. Первым анонимные пользователи взорвали Королевский дворец. Потом — суд. Потом — парламент. Изучая последовательность и частоту виртуальных подрывов, мы можем фиксировать те самые намерения.

А.Н.: Это очень интересно! Игровое пространство действительно может быть привлекательным исследовательским проектом. Возможно, именно там проявятся многие намерения, которые не видны офлайн. Это мостик к нашей следующей теме — виртуальным пространствам и оппозиции между присутствием (presence) и связью (connection), опосредованной виртуальным пространством.

Уникальное ощущение близости, как бы далеко ни было

А.Н.: Есть три большие метаморфозы, связанные с виртуальным и физическим пространствами, на которые мне хотелось бы обратить внимание. Первая — отделение места работы от рабочего места. Этот процесс начался давно, речь не о работе из дома, а о работе откуда угодно. В этом основная суть происходящего. Рабочее место отделяется от рабочего места так же, как Message отделилось от Messenger (послание от посланца).

Вторая — отделение места от местоположения. Само по себе место со своим содержанием и топографическое местоположение сильно друг от друга отделились. Кокон «среды» нейтрализует местоположение как точки в системе координат «далеко-близко», прогресс транспорта убивает расстояние.

Третья — появление времени в городе. Город вдруг снова стал пространственно-временным объемом, стал переживаться как длительность. То ли потому, что возникло новое стихийное представление о будущем, апеллирующее к технологиям и инновациям, то ли из-за чувствительного сюжета с охраной памятников истории и культуры. Появились новые движения в архитектуре, пропагандирующие безразличное ко времени пространство, переиспользование и реконфигурацию пространства, архитектуру second hand.

Мы начинаем ощущать и вести себя в городе как меньшинство, так как застраиваемый нами на столетия город будет наполнен совершенно новыми людьми, которые, возможно, не захотят жить в бетонных оковах, отпечатанных по лекалам предков. Через 30–50 лет система ценностей и фундаментальный спрос изменятся, так что целью городского планирования становится не видение будущего, а готовность к изменениям. Как говорил Зигмунт Бауман, нам нужна система готовности, а не планирования.

Эти три метаморфозы, думаю, напрямую связаны с феноменом присутствия и связности, феноменом экстерриториальности, с возможностью выпасть из местного контекста и переместиться в совершенно другой контекст, независимо от местоположения и времяпрепровождения, будь то работа или общение.

Мне кажется, в этом очень много позитивного. Если смотреть совсем уж приземленно, то, например, работа откуда угодно открывает совершенно новые просторы для жизни малых городов, потому что если раньше у вас была щетинная фабрика, единственное место, в котором вы могли работать, а альтернативой был отъезд из города, то сейчас все обстоит совершенно иначе. Перед вами раскрывается весь рынок труда, включая мировой. Это начало очень важного процесса, который может спасти многие малые населенные пункты.

Есть заход с другой стороны. Посмотрите на то, что сейчас происходит в Бенилюксе и Северной Германии. Это почти кристаллеровское расселение. Люди понимают, что если раньше

их присутствие в городе или рядом с городом давало им возможность выбора и разнообразие услуг, то сейчас они могут спокойно переселиться в ту точку кристаллеровской решетки, которая равноудалена от всех крупных центров, находится в сельской местности с прекрасным ландшафтом и просторными домами. Прогресс транспорта зашел так далеко, что время на перемещение в соседние города резко сократилось, и тогда получается, что уже можно жить в окружении 5–6 крупных городов и пользоваться двадцатью аэропортами, а не двумя, пятью-десятью театрами, а не пятью, ну и так далее. Дети имеют широкий выбор школ и университетов. Пространственные хореографии членов семьи различаются: в одном городе в детском саду ребенок, в другом работают бабушка с дедушкой, в третьем — жена, в четвертом — муж.

В добавление к этому вы получаете прекрасный ландшафт вокруг вместо плотной городской застройки. Такая схема лучше работает для *barbecue generation*, чем для молодежи. Это мощный процесс, который идет уже более десяти лет. У районов Северной Германии и Бенилюкса позитивное сальдо миграции. Решетка Кристаллера вывернулась наизнанку: теперь самая удаленная от крупных городов точка выше в иерархии поселений, чем самый крупный город. Не субурбанизация и не рурбанизация, а новый виток урбанизации. Свободный выбор места в системе расселения и отсутствие периферийных локаций, поскольку все они легкодоступны, позволяет вам ежедневно выбирать из нескольких городов и увеличивать спектр доступных вам социальных и профессиональных ролей.

В.В.: Интересно, что Деланда в той же логике описывает субурбанизацию. Городской асамбляж теряет внятность своих границ в пространстве (у него этот процесс называется «детерриторизацией»), зато формируются новые околородские центры. И тогда описанная вами рурбанизация — просто следующий этап детерриторизации города. Все это работает, пока транспорт ходит по расписанию, его скорость позволяет вам после работы забрать детей из детского сада в соседнем городе, а жизнь между городами в географических резервациях имени Кристаллера экономически выгодна.

Но тут ведь есть и еще один интересный философский заход. Каждый раз, когда мы заводим разговор об эволюции систем коммуникации и их влиянии на город, мы оказываемся в очень узком коридоре между двумя большими нарративами: утопическим и антиутопическим.

Утопический нарратив — это разговор про смерть дистанции. Так называлась книжка Фрэнсис Кэрнкросс, появившаяся на самой заре интернета. Кэрнкросс тридцать лет назад предсказывала скорую смерть мегаполисов, потому что «всепроницающая сеть телекоммуникаций» скоро окончательно снимет вас с городской привязи. Буквально: отвяжет. Зачем вам вообще сидеть в Москве с 20 миллионами других таких же заложников своего места работы? Интернет сделает нас мобильными, убьет дистанцию, освободит человека от власти пространства. Это относительно молодая и потому очень незрелая мифологема. Как видим, развитие интернета (до пандемии) действительно повлияло на жизнь больших городов: с его помощью в них стало проще искать жилье и работу. В итоге численность населения мегаполисов за эти тридцать лет возросла, а не снизилась. Сейчас этот нарратив снова поднял голову. Все снова заговорили о смерти больших городов и росте *zoom-towns*, маленьких живописных поселений, куда массово перебираются «удаленщики, обслуживающие своих сетевых лордов» (как написал в последнем романе Пелевин). Вот и Ричард Флорида в этом году рассказал о революции в городской географии США: американцы бегут из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Возможно, во всем этом есть зерно истины. Но лишь до тех пор, пока наша расшифровка происходящего опирается на наблюдение и анализ, а не на большой нарратив о смерти пространства и торжестве удаленки. В Москве, к примеру, влияние локдауна на численность городского населения сравнимо с затянувшимся дачным сезоном.

Второй нарратив — антиутопический. И принадлежит он Мартину Хайдеггеру. Что мы имеем в виду, когда говорим «близкий»? Во-первых, это пространственно близкие места: близко от дома, близко до города. Во-вторых, это близкие люди, близкие темы, близкие вещи. На протяжении большей части истории человечества, говорит Хайдеггер, эти два значения совпадали. Все, что вам было близко экзистенциально, было близко и пространственно. А то, что было удалено от вас на тысячи километров, было вам до лампочки. Эволюция средств связи и средств коммуникации сломали ощущение дали. Сегодня от вас ничего по-настоящему не удалено. Телевидение переносит «далекие становища древнейших культур» в мою квартиру, пишет Хайдеггер (по счастью, не доживший до интернета и тем более до фейсбучных войн и зум-эпидемии). Места, до которых раньше люди плыли месяцами, теперь от нас

на расстоянии нескольких часов полета. Но в мире, где от нас ничего не удалено, нам ничего и не близко. Без дали нет близости. Хайдеггеровская антиутопия недалекого мира — это наш, постапокалиптический мир равноудаленных мест, людей, вещей и тем. Благодаря развитию средств передвижения и связи теперь все связано со всем, мир спекся в недалекое единообразие как после атомной бомбардировки. То, что утописту кажется раем бесконечного разнообразия равнодоступных возможностей, для антиутописта — ад единообразия и безразличия. Хайдеггеровский парадокс: чем меньше далей, тем меньше близостей, чем больше выбора — тем меньше выбора.

Все это, конечно, старческое брюзжание, консервативная критика технического прогресса. Но давайте теперь зададимся вопросом: как локдаун изменил наше восприятие пространства? Один из любопытных эффектов — карантинная дальность. Запертый в четырех стенах человек не перешел в модус being, о котором мы говорили с вами выше. Нет, он превратился в персонажа песни Высоцкого «Жертва телевидения» (помните, который все время заступался за Анджелу Дэвис, пил на пососок с Жоржем Помпиду, но отказывался выйти из дома, потому что в телевизоре мир интересней). Всех стал живо интересовать нулевой пациент, новый виток осложнения международных отношений, теория коллективного иммунитета и кто именно в интернете неправ. Посаженные на карантин пользователи соцсетей забывали выгулять собаку и позвонить родителям, но не забывали написать в день пять постов и прокомментировать триста. Для такого эффекта есть специальный термин — «телехирия», действие на расстоянии. Это ситуация оператора-беспилотника, который действует не там, где его тело. Каждый человек, локализованный в бункере, но живущий в соцсети, немного пилот боевого дрона.

Мне кажется, как исследователи мы должны пройти между Сциллой прогрессизма и Харибдой антипрогрессизма. Не дать ни одному из двух мифов увлечь наше воображение. Но это не значит, что мы не можем использовать ресурсы и инструменты, которые в этих нарративах есть. Тем более ситуация к тому располагает.

А.Н.: Очень интересно. Надо над этим дальше думать. Спасибо большое. У нас осталось пять минут. Теперь вопросы из аудитории.

Александр Емелин: Спасибо большое за интересную дискуссию. Александр Емелин, Финансовый университет. Я хотел бы вернуться к теме действий и намерений и их взаимосвязи с пространственным развитием. Как политическое намерение может быть связано с пространственным развитием? В данном случае речь идет о намерении политических субъектов, будь то общество, экономическая элита или представители власти. Как эти намерения и их взаимосвязь с пространственным развитием могут перейти в действие по этому самому пространственному развитию. Спасибо!

А.Н.: Когда вы заговорили о политическом намерении и его пространственном воплощении, я сразу вспомнил о бароне Османе и его парижской реформе. Этот человек потратил пять лет, чтобы договориться с собственниками земли о справедливой компенсации, а с муниципалитетами — об их консолидации в Большой Париж. Будучи приятелем императора, он тем не менее нанял общественного адвоката и действовал через него, так как очень уважал город и горожан и попытался выразить свое политическое намерение в деликатной форме. Он продвигал идею здорового города, боролся со средневековой скученностью.

Сохранилось воспоминание о беседе русского и австрийского генералов на холме Монмартр перед последним броском на Париж в 1814 году. Русский генерал говорит: «Давайте быстро атакуем город, и он падет». Ответ австрийского генерала: «Какой смысл? Город и так умирает от чумы и сифилиса».

До Рамбуто и Османа город действительно умирал от эпидемии. Политическое намерение состояло в том, чтобы создать там другую систему коммуникации, более просторные улицы, другую атмосферу общественных пространств. Проект шел тяжело: Ла-Виллет и несколько других юрисдикций так и не объединились с другими муниципалитетами Парижа. Город напоминал сыр с дырками. Намерение было одно, получилось по-другому, но медленная консолидация Парижа и выкуп земли были сознательным актом уважения к гражданскому обществу, институту собственности и местного самоуправления. Мне кажется, эта история может быть ответом на ваш вопрос. Для градостроителей одно из открытий Османа состоит в том, что политические намерения в отношении городского пространства нельзя реализовать быстро. Медленное движение преобразований — важнейшая добродетель городского планирования.

В.В.: Я думаю, мы имеем в виду очень разные вещи, когда говорим «политическое намерение» и «намерение горожанина». В первом случае речь идет о решениях, планах и их реализации. Это не совсем те намерения, которые мы обсуждали. Впрочем, политические намерения мы тоже узнаем постфактум. Как и намерения горожан, намерения властей мы вынуждены анализировать по их эксплицитным проявлениям, вменяя управленцам некоторые стоящие за этими проявлениями стремления: «Они хотят снести Бадаевскую руину!», «Они хотят построить здесь Охта-центр!» и т.д.

Никита Токарев: Спасибо, уважаемые друзья. Поскольку наша школа все-таки архитектурная, можно ли из темы нашего сегодняшнего разговора перебросить мостик к архитектуре? Мы знаем, что архитектура — дело очень медленное, физическая ткань городов меняется далеко не так быстро, как намерения и ощущения их жителей. В связи с этим у меня есть ощущение, что скорее будет меняться способ использования зданий и городских пространств, чем их физический состав. Что вы думаете об этом?

В.В.: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что социологи города и социологи архитектуры — это патологоанатомы. Когда что-то поменялось, или еще лучше что-то развалилось, или еще лучше что-то поменялось, что-то развалилось, а потом все возмутились, тогда у нас есть предмет исследования. Худшее, что в этот момент можно сделать с позиции исследователя, это сказать, что мы видим, как что-то меняется, скорее всего, будет меняться и дальше, меняться в эту сторону, поэтому архитекторам нужно делать так. Когда что-то умрет, мы придем это изучать. Никаких прогнозов по поводу его смерти и тем более рецептов, как действовать архитекторам, мы точно давать не будем.

А.Н.: Я могу только сказать, что как дата-аналитики, мы видим запрос на нейтральность проектируемого пространства, его безразличие к наполняющей его функции. Такой запрос появляется в технических заданиях на мастер-планирование: жилье должно иметь возможность стать офисом, а торговый центр — спортивным сооружением или складом. Возможная смена функционального профиля определяется как цель проектирования.

Н.Т.: Спасибо большое! Пространство, где мы находимся, как раз является примером примерно того, что вы сейчас сформулировали. Купцы в XIX веке ничего не предполагали про выставку «АРХ Москва» и нашу сегодняшнюю беседу. Мне очень понравилась идея системы готовности, а не планирования. Мне кажется, это некоторый путь, в том числе путь образования. В МАРШ мы видим, что мы действительно не можем запланировать или предвидеть будущее. Оно слишком быстро меняется. Постараться быть готовым к тому, что оно изменится, может быть, еще в наших силах. Так что большое вам спасибо за сегодняшний замечательный диалог.